

Аспирантура

Аспирантура моя затянулась — играл в шахматы, но все аспирантские экзамены сдал. Так как институт мне дал слабую общую подготовку, Горев заставил меня изучать математику и механику; кроме того, я должен был сдать философию. С математикой все было хорошо — Иван Иванович Иванов (старейший профессор политехнического, он читал нам лекции в аудитории на первом этаже — в аудитории, которой потом было присвоено его имя) остался мной доволен, поставил пятерку, а когда узнал кому, то лестно отозвался о шахматах. С механикой обстояло хуже, но Анатолий Исаакович Лурье — один из крупнейших советских специалистов в этой области (и не только в этой) — отнесся ко мне приветливо. С философией — совеем плохо, я завалился на случайном и необходимом. Выучил определение Энгельса (из «Диалектики природы») наизусть и снова пошел сдавать.

— Ну как, теперь вы изучили вопрос о случайном и необходимом?

Отбарабанил определение, но честно добавил, что смысла его не уяснил. Преподаватель философии, видимо, сам чувствовал себя в этом вопросе не очень уверенно; дипломатично поставил мне четверку, и мы расстались по-приятельски.

Одним из самых значительных турниров периода моей аспирантуры был II Московский международный турнир 1935 года. Интерес к нему был огромный — в первый день пришло около пяти тысяч зрителей, но порядка было мало. В дальнейшем по настоянию Александра Васильевича Косарева, секретаря ЦК комсомола, зрителей стали пускать поменьше. Играли мы среди скульптур в Музее изящных искусств (ныне Музей имени А. С. Пушкина), но это было неплохо: для скульптур всегда строят здания с большой кубатурой.

Жили мы в «Национале», на игру я шел пешком пятнадцать минут — отличная прогулка. Однажды из-за этого пешего перехода попал в неловкое положение: перед партией с Капабланкой, пройдя полпути, вспомнил, что забыл в гостинице очки для игры, помчался за ними и опоздал на игру на десять минут. Капа имел явно обиженный вид, но когда все выяснилось — улыбнулся (он сам тогда уже имел очки для игры).

После тура молодые участники — обычно в ресторане — показывали свои партии Ласкеру или Капабланке. В начале турнира я выигрывал почти все партии и, когда партия с Алаторцевым закончилась миром, все допытывался у Ласкера: «Где белые упустили победу?» Ласкер терпеливо выслушивал мои сентенции, но наконец вскипел: «Что, вы должны каждую партию выигрывать?»

Ласкеру было шестьдесят шесть лет. Сильная, мудрая голова — и уже немощное тело. Играл он ловко: от сложных позиций отказывался, менял фигуры — он умел это делать и в молодости, но тогда не так охотно соглашался на ничью. Турнир он провел без единого поражения — феноменальное достижение!

Капабланка уже был экс-чемпионом мира (место на шахматном Олимпе он уступил Алехину), и это его травмировало. Отдельные партии он проводил с удивительным мастерством, но больше всего поражала меня его быстрая и точная оценка эндшпилей.

Во время турнира был эпизод, может быть для меня не очень почетный, но он был... Партия моего друга Славы Рагозина с Ласкером была отложена с преимуществом у старого доктора. «Шлифовали» мы эту позицию добросовестно, ибо была опасность, что Ласкер, чего доброго, и первым будет! Наконец нашли ничью «во всех вариантах», но для надежности решили посоветоваться с Ка-пой (тот тоже конкурировал с Ласкером) — конечно, этого не следовало делать. Капабланка принял нас в своем номере; пока я демонстрировал ему анализ, он с полуулыбкой кивал головой,

но вдруг остановил меня и заявил, что белые должны проиграть один простой эндшпиль, который мы со Славой считали вполне защитимым. Против Капы этот эндшпиль мы спасти не могли! При доигрывании партия сразу кончилась вничью, так как Ласкер просмотрел хитрый трюк.

Наконец подошел и последний тур. Мы с Флором наравне. Я должен играть черными с Рабиновичем, Флор — с Алаторцевым.

Стук в дверь, и входит Николай Васильевич Крыленко.

— Что скажете,— спрашивает он,— если Рабинович вам проиграет?

— Если пойму, что мне дарят очко, то сам подставлю фигуру и тут же сдам партию...

Крыленко посмотрел на меня с явным дружелюбием:

— Но что же делать?

— Думаю, что Флор сам предложит обе партии закончить миром; ведь нечто подобное он сделал во время нашего матча...

Я хитро усмехнулся.

— К тому же он может бояться, что Рабинович мне «сплавит» партию.

Тут же заходит С. Вайнштейн: Флор предлагает две ничьи. Крыленко просиял. Рабинович дал согласие, но Алаторцев уперся — решил играть на выигрыш. Посоветовались с Флором.

— Пусть играет,— сказал Флор,— будет ничья... Началась игра. Несмотря на запрещение Крыленко, я первый предлагаю ничью.

Задача Флора была сложнее, так как Алаторцев все же умудрился попасть в трудное положение, но честный Флор сделал ничью.

Итак, мы с Флором первые. Ласкер на пол-очка сзади — он в последнем туре блестяще выиграл у Пирца. Крыленко консультируется с двумя экс-чемпионами: как они отнесутся к тому, что Ботвиннику будет присвоено звание гроссмейстера? Капа и Ласкер — «за». Я был против — заявил, что дело не в званиях.

Мои друзья — шахматисты ГУУЗа (Главное управление учебных заведений) Наркомтяжпрома — ходатайствуют перед Григорием Константиновичем Орджоникидзе о награждении меня легкой

автомашиной. Об этом узнают, кое-кто уговаривает Николая Васильевича воспрепятствовать этому, чтобы не портить Ботвинника: подумать только — и приз, и автомашина!

Крыленко колеблется, но все же звонит Орджоникидзе и объясняет, что деньги (приз) на автомашину у шахматной секции есть — не даст ли товарищ Серго разрешения на покупку автомобиля?

Орджоникидзе сразу разобрался в ситуации: «Товарищ Крыленко, у меня есть и автомашина, и деньги. Мы решим этот вопрос сами». В итоге я стал автолюбителем... Кроме того, Григорий Константинович установил мне повышенную аспирантскую стипендию в пятьсот рублей (вместо трехсот) в месяц.

Впоследствии была у меня автомобильная «авария» — с «эмкой» (движение «газиков» по Москве и Ленинграду запретили, и пришлось обменять подарок Орджоникидзе). Как всегда вечером

поехал к Кировскому театру за женой (артисткой балета). Когда у консерватории проезжал трамвайную остановку (народу много, спектакль кончился), увидел, что быстро сближаюсь с каким-то пешеходом. Жму педаль тормоза, но это не помогает. Удар, пешеход падает, машина стоит.

Кругом крик. «Задавил, со своей девицей беседовал...» Выхожу из машины, толпа расступилась — подошел милиционер: «Где потерпевший?» А он исчез. Кто-то заявляет, что потерпевший встал, прицепился к встречному трамваю и уехал. Записываю фамилии очевидцев и милиционера.

— Поглядите, что это у вас с фарой?..

Смотрю: кронштейн поломан, и фара лежит на широком крыле «эмки».

На следующий день бегаю по Ленинграду — достаю новый кронштейн, и фара — на месте.

Возвращаюсь вечером домой, у ворот ждет старший дворник Николай Федорович и с ним двое в штатском.

—: Товарищи хотят посмотреть ваш гараж.

Жил я в доме бывшего посольства Австро-Венгрии и переоборудовал каретный сарай под гараж.

Заходим в гараж.

— Вижу, вас не гараж интересует, а левая фара? — Двое в штатском не отрывали от нее глаз.

Хорошо, что сохранил я обломки кронштейна. Один из посетителей достает из кармана свой обломок (верхний) и приставляет к моему нижнему.

— Да, не подходит.

Передаю им фамилии и адреса свидетелей, и посетители с благодарностью уходят.

Стало все ясно. Была авария, водитель не остановился, а на месте происшествия осталась фара. Тогда преступник решил запутать следствие и ломал левые фары у «эмок»!

В начале 1936 года я написал Н. Крыленко письмо, где анализировал результаты международного турнира 1935 года и предложил провести в

Москве новый турнир. Суть дела была в том, что в турнире 1935 года играли и сильные гроссмейстеры, и мастера, уступавшие им по силе; по итогам таких соревнований трудно судить о подлинном уровне игры шахматистов. Иное дело турнир, где играют лишь сильные, а соревнование повторяется — это так называемые матч-турниры. Я и предложил пригласить в новое соревнование пять сильных зарубежных гроссмейстеров и отобрать пять лучших советских шахматистов, доказывал, что это будет настоящей проверкой и хорошей тренировкой.

Конечно, и здесь были возражения: легче отобрать 10—12 советских участников, нежели 5,— у каждого мастера есть свои болельщики. Однако Крыленко, как правило, не считался с эгоистическими интересами. Он послал меня на переговоры к Косареву — при поддержке Цекамола легче было получить разрешение на турнир (расходы предстояли немалые).

Александр Васильевич принял меня незамедлительно и после, необходимых разъяснений заявил о своей безоговорочной поддержке. Разрешение правительства вскоре последовало.

В турнир были приглашены Ласкер, Капабланка, Флор, Лилиенталь и Элисказес; из советских — четверо молодых (Ботвинник, Рагозин, Рюмин и Кан), а также один из старшего поколения (Левенфиш).

К сожалению, турнир начался позже, чем предполагалось. В июне в Москве стояла сильная жара, и играть было трудно. Соревнование проходило в Колонном зале Дома Союзов, но — увы! — искусственного климата в зале тогда еще не было, а зрителей — более чем достаточно, дышать тяжело. По ночам тоже было жарко. Я переутомился и впервые в жизни страдал от бессонницы. Вылечила от нее только война...

Но играть в шахматы надо. Больше года был оторван я от практической игры, но настроен был оптимистично; мы с Рагозиным отлично подготовились в санатории «Зачеренье» (под Ленинградом) и сыграли хорошие тренировочные партии.

В седьмом туре произошла катастрофа. Я добился против Капы выигранной позиции, на 28-м ходу мог получить подавляющий материальный перевес, но «влетел» в цейтнот, и Капабланка наказал меня по всем правилам шахматного искусства (№ 72). Капа стал единоличным лидером; дальнейшая напряженная турнирная гонка так и не изменила дистанции между нами в одно очко (оба мы в оставшихся встречах набрали по 8 из 11). Кубинец завоевал пер-, вый приз!

Следующий после поражения день был свободным. С горя пошел в МХАТ на «Женитьбу Фигаро». Андровская, Завадский и Прудкин играли с блеском. Покатываюсь со смеху, тревоги забыты. В антракте за спиной слышу мужской голос: «Перед тобой сидит Ботвинник». И в ответ: «Он же вчера проиграл, как он мог пойти в театр?» — удивляется какая-то школьница...

На сей раз советские участники сыграли лучше, чем в 1935 году,— зарубежные участники не продемонстрировали очевидного перевеса, а испытание было серьезным. Цель соревнования была достигнута —

появилась уверенность в силе советских мастеров, можно было с надеждой взирать в грядущее...

Так и надо действовать молодым шахматистам, если они хотят двигаться вперед: не за материальными благами гоняться, а за трудными соревнованиями.

И вот — новый турнир. Англичане действовали заблаговременно. Зимой 1935 года уже было известно, что турнир в Ноттингеме будет. Когда они собрали турнирный фонд, или, попросту говоря, денежки, то разослали приглашения участникам. Я получил приглашение зимой 1936 года.

Вопрос о моем участии у Николая Васильевича Крыленко сомнений не вызывал, так как я имел уже успехи в международных соревнованиях. Крыленко все согласовал заранее, получил необходимое разрешение и направил в Англию положительный ответ.

Его беспокоило только одно: что нужно сделать, чтобы содействовать успеху советского чемпиона?

Шахматисты и боялись, и любили Николая Васильевича. Он был резок, действовал прямо, но справедливо, а когда нужно — деликатно и весьма тонко. На заседаниях исполбюро шахсектора ВСФК он не навязывал свою волю, но проявлял власть, когда понимал, что верх берут групповые интересы. Заседания он часто проводил стоя, быть может чтобы «компенсировать» небольшой рост. Бритая голова с резкими чертами лица, пронизательные глаза, свободная, небрежная речь с аристократическим грассированием, неизменные френч и краги — таков был внешний облик одного из популярных соратников Ленина. К тому времени Крыленко был широко известен в зарубежных шахматных кругах, так как московские международные турниры 1925, 1935 и 1936 годов были проведены под его руководством.

«Николай Васильевич, может быть, можно послать со мной жену?» Это было трудным делом. В то время за границу ездили весьма редко, а с женами — и говорить нечего. Но Крыленко видел, что когда жена приехала в Москву на последние туры III международного турнира, то дела мои на финише улучшились...

В начале июля я был вызван в Москву.

«Позвонил товарищу Калинину, все объяснил, и Михаил Иванович решил вопрос положительно», — как бы между прочим сказал Крыленко. Тут же мне были вручены паспорта, билеты и валюта. Деньги были немалые: командировочные, что-то около 100 фунтов стерлингов, как наркомам, — все это, конечно, тоже выхлопотал Крыленко.

В те времена банкеты — они были запрещены позже — устраивались по любому поводу. И хотя должен был выехать я за рубеж лишь две недели спустя, в «Национале» был устроен прощальный ужин человек на 20!

Рядом с Крыленко сидел один моложавый и приветливый товарищ. Выяснилось, что это был замзав агитпропом ЦК ВКП(б) Ангаров. Тепло попрощавшись со мной, Крыленко попросил Ангарова отвезти меня на Ленинградский вокзал.

Пока мы ехали в служебном «бьюике» Ангарова, он продолжал обсуждать предстоящее соревнование:

— Какая страшная вещь — шахматы! — наконец воскликнул он.

— Почему?!

— Вот захочешь вам помочь,— горестно сказал Ангаров,— а как это сделать? — Мы рассмеялись и обменялись рукопожатием...

Прогнозов перед турниром было, как всегда, более чем достаточно, и в основном пессимистических. Левенфиш, например, держал пари, что Ботвинник займет место не выше четвертого и, во всяком случае, будет ниже Боголюбова. Верно предсказал результат турнира (I и II призы поделят Капабланка и Ботвинник) лишь один проницательный человек — им оказался Ильин-Женевский.

Был жаркий июльский день, и мы забыли плащи дома. Спыхватились, когда в Финском заливе началась гроза, похолодало и теплоход «Сибирь» покачивался на волнах уже далеко от Ленинграда. Это судно было постройки Балтийского завода, водоизмещением всего лишь 6 тысяч тонн, скорость — 12 узлов (во время Великой Отечественной войны оно было переоборудовано под госпиталь и вскоре потоплено фашистами). Тогда теплоход совершал прямые рейсы в Лондон, все путешествие продолжалось четыре с половиной дня.

Забит пассажирами он был до отказа. Здесь были иностранцы и советские, эмигранты из стран, где пришел к власти фашизм, и богатые туристы. Большая группа советских инженеров-электриков направлялась на 6 месяцев в Англию на практику. Среди них была одна женщина — инженер из Харькова, и пожилая английская чета все допытывалась у моей жены: «Разве это возможно, чтобы жена на полгода покидала семью? Неужели ваш муж отпустил бы вас на столь длительный срок?» У английских интеллигентов были свои представления о жизни...

В группе советских инженеров находился и Г. В. Алексенко — об этом я тогда, конечно, не знал. Но когда много лет спустя меня принимал заместитель председателя Комитета по науке и технике и помог мне по работе, то выяснилось, что вместе с хозяином кабинета Геннадием Васильевичем Алексенко плавали мы в 1936 году на теплоходе «Сибирь».

Кильский канал проходили спокойно, хотя уже чувствовалась напряженность — в Испании шла война. Дети с берега кричали нам: «Хайль Гитлер!» Они с удивлением замолкали, когда эмигранты-антифашисты отвечали: «Хайль Москау!»

Идем Северным морем. Капитан Сорокин приглашает нас в свою каюту. Все в Советском Союзе знают о турнире в Ноттингеме — моряки не исключение. На горизонте показался маяк. «Это Сунк,— поясняет капитан.— Уже английский берег, но можете спать спокойно — в Темзу войдем только с приливом, так что в Лондоне будем не раньше восьми утра...»

Проснулись от грохота над головой: на палубе уже началась жизнь, хотя еще не было шести часов. Оказывается, Лондон — прилив начался раньше. Доехали отлично.

Насколько все было иначе два года назад, когда я добирался до Гастингса через всю Европу в «сидячем» вагоне с несколькими пересадками! Я был настолько вымотан, что, сидя на палубе теплохода Остенде — Дувр, заснул мертвым сном. Проснулся, когда теплоход уже пришвартовался; взял свой багаж и вместе со всеми пассажирами пошел на паспортный контроль. Подошел и мой черед, но рослый бобби, глянув на мой краснокожий паспорт, начал меня в чем-то убеждать, а по-английски я тогда ни бум-бум... Наконец он меня отстраняет и начинает пропускать других пассажиров...

Что делать? Так и на поезд Дувр — Лондон не поспеешь... В этой тяжелой ситуации созрела счастливая мысль: вытаскиваю приглашение Гастингского клуба — картина сразу меняется. Бобби достал анкетку, сам ее заполнил (вот, оказывается, чего не хватало — на теплоходе мне предлагали какую-то карточку, но я неразумно от нее отказался!), с поклонами проводил меня несколько шагов, указывая, где стоит мой поезд. Пассажиры почтительно наблюдали — они, вероятно, решили, что в образе молодого человека была какая-то важная птица; а чиновник просто-напросто был шахматным любителем!

До турнира оставалось несколько дней; на сей раз я приехал заранее. В январе 1935 года в том же Лондоне мы повидались с Эм. Ласкером и обсуждали мой слабый результат на турнире в Гастингсе. Когда Ласкер узнал, что я прибыл в Гастингс за два часа до начала игры, он покачал головой: «Для акклиматизации надо приезжать дней за десять...» Теперь Крыленко и исполнил совет экс-чемпиона.

Хотя я торопился в Ноттингем, но надо же было приодеть жену, и мы день провели в Лондоне. В посольство я приехал как в родной дом; после турнира в Гастингсе Майские принимали меня как сына. Иван Михайлович Майский много лет был послом в Лондоне, включая тяжелые военные годы. Я вполне оценил самого Майского и его жену Агнию Александровну, когда они незаметно и доброжелательно поддержали меня после неудачи в Гастингсе. Тогда в Лондоне находился М. А. Шолохов, и за интересной беседой я забывал о своих горестях...

Сейчас Иван Михайлович был в отпуске на Родине, и нас взяла под свое попечение жена советника.

Шляпками жена была обеспечена — шляпный магазин Софьи Лapidус популярен был в Петрограде еще во время нэпа; теперь она работала в ателье на Невском, 12 (это ателье было хорошо известно в Ленинграде под названием «смерть мужьям») и сделала жене два очаровательных головных убора. А вот костюм надо было купить обязательно.

Поехали в универсальный магазин (кажется, Солфридж), вез нас на машине посла водитель-англичанин. Тогда тред-юнионы требовали, чтобы советское посольство нанимало местных водителей для уменьшения безработицы.

«Ту писес (два предмета) очень хорош,— сказала наша спутница, и молоденькая продавщица закивала головой,— отложите его, пожалуйста, мы заедем позднее». Наш гид считала, что надо поискать что-то более изящное.

Решили поехать в другой магазин, вышли на улицу, но машины нет. Водитель в соответствии с трудовым договором уехал завтракать, было двенадцать часов.

Объездили магазинов десять, но «ту писес» оказался вне конкуренции. Возвращаемся к Солфриджу; симпатичную продавщицу пришлось оторвать от чаепития — никто другой не знал, где наш костюм. В воздухе несколько минут раздаются взаимные благодарности, все улыбаются, и за пять фунтов жена становится владелицей изящного бежевого костюма. Сносу костюму не было — двадцать лет спустя его донашивала дочь, когда ходила в туристские походы.

Садимся в скорый поезд — только одна промежуточная остановка в Кеттеринге. Качает со страшной силой, поезд идет рядом с домами, деревьями, полосы отчуждения нет; за окнами все мелькает. Жене становится не очень сладко. Пожилой англичанин, что сидит напротив, поддерживает ее: «Да, очень скорый поезд...»

Прошло два часа, и мы в Ноттингеме на Виктория стейшн. Отель под тем же названием рядом.

Предоставили нам шикарный номер. Не считаясь с советами жены, от пансиона я отказался; шутка ли, неделю платить втридорога за двоих — это было не по моим правилам! Идем кушать поблизости в кафе «Милтон». Заказываем. Кушаем. Но когда шпинат захрустел на зубах (собственно, не шпинат, а песок в шпинате), жена меня спросила: «Может, будем кушать в отеле?» В отеле кормили превосходно. Наркомовские суточные пригодились!

На следующий день нам сообщили, что г-н Дербишер, президент шахматной ассоциации Ноттингема и член городского совета, приглашает нас на весь день в свое поместье Ремпстон-холл. Утром приехал за нами его сын на своем спортивном автомобиле; бешеная езда, и под колесами шумит морская галька, толстый слой которой покрывал все дороги в поместье. Дом старинный, видимо, Дербишер его приобрел недавно. Знакомимся с хозяином, ему на днях должно исполниться 70 лет, жена лет на 15 моложе, теще 82 года. Симпатичная бабушка сразу влюбилась в мою жену. Посыпались вопросы: «В какой церкви вас венчали?», «Верно ли, что в СССР детей отнимают от родителей?», «Неужели эта шляпка из Москвы?», «Как, вы танцуете в балете?» — и т. д.

Дербишер показывает свой шахматный трофей — превосходные фигуры типа Стаунтон, они содержатся под стеклом. Полвека назад во время шахматного конгресса в Ноттингеме Дербишер завоевал первый приз в одном из побочных турниров. Чтобы отметить юбилей, Дербишер и решил провести международный турнир с участием четырех чемпионов мира: Ласкера, Капабланки, Алехина и Эйве. Дербишер объявил, что он жертвует половину турнирного фонда, если другая половина будет собрана среди британских любителей шахмат. И то, и другое было выполнено, и вот турнир начинается.

Супруга хозяина садится за руль своей машины (переключение скоростей выведено на руль — тогда это было редкостью), рядом с ней моя

жена, мы с Дербишером сзади. Едем на ежегодный народный праздник к одному лендлорду. Машин видимо-невидимо, многие забрались на крыши своих автомобилей и смотрят представление на свежем воздухе. Но Дербишер ведет нас к террасе дома, где собралась избранная публика. Громадный бобби, расставив ноги и сложив сзади руки, стоит к нам спиной, загораживая проход. Дербишер тросточкой постукивает его по плечу: полисмен не спеша оборачивается, узнает члена магистрата и разрешает пройти. Дербишер, представляя нас, неизменно добавлял: «Остановились в «Виктория стейшн»... Это означало, что мы состоятельные люди, что и объясняло наше присутствие на террасе.

Возвращаемся в Ремпстон-холл и приступаем к обеду. Кушаем курицу; все идет благополучно, но к фруктам (виноград размером с яблочко — с местной оранжереи) подаются серебряные мисочки с водой, в которых плавают цветочки. Решили выждать и посмотреть, что с ними будут делать другие. Чепуха — оказывается, в мисочке после еды надо промыть пальцы.

Любезное прощание, и назад уже нас везет водитель на громадном лимузине хозяина. Хорошо, что до турнира еще несколько дней и можно сосредоточиться на главном — шахматах!

Понемногу прибывают и остальные участники. Эмануил Ласкер изменил своим правилам и прибыл позже меня. Тогда ему было почти 68 лет. Это и много, и мало — все зависит от того, как человек выглядит, насколько он работоспособен. Ласкер выглядел плохо, с трудом передвигался, видимо, у него не было зубов, так что иногда нос, похожий на клюв орла, почти упирался в подбородок. Но за доской он был хладнокровен и проницателен. Сознавая, что сил у него стало меньше, Ласкер обычно играл на упрощения и не возражал против мирного исхода борьбы.

Увидев у Боголюбова «Берлинер тагеблатт», Ласкер оживился и углубился в чтение газеты. Приходит фоторепортер и просит Ласкера позировать; Ласкер демонстративно отбрасывает газету в сторону. «С фашистской газетой я фотографироваться не могу», — заявляет он.

В Ноттингеме, так же как и в III Московском международном турнире, Ласкер выступал без особого успеха, но он весьма существенно повлиял на ход турнирной борьбы. Долгое время чемпион мира Эйве был лидером, и я еле поспевал за ним. В этот критический момент состязания Ласкер неожиданно пришел ко мне в номер.

— Я сейчас живу в Москве (Ласкер после II Московского международного турнира три года жил в СССР.— *М. Б.*), — торжественно заявил он, — и, как представитель Советского Союза, считаю своим долгом играть завтра на выигрыш против Эйве, поскольку играю белыми... — При этом вид у старого доктора был весьма встревоженный.

— Что вы, что вы! — замахал я руками. — Милый доктор, если вы сделаете ничью, это будет хорошо.

Ласкер облегченно вздохнул:

— Ну это дело простое, — сказал он и, пожав руку, удалился.

На следующий день Эйве, играя на выигрыш, в равном эндшпиле проглядел тактическую тонкость и... проиграл.

Капабланка к тому времени был уже не столь красив, как в молодости; он располнел, чуть поседели поредевшие волосы. Все же был обаятелен. Лето 1936 года — расцвет его поздней шахматной активности, и не только шахматной. Капа увлекался тогда вдовой русского эмигранта, Ольгой Чегодаевой, на которой впоследствии женился. В Ноттингеме он изредка показывался в ее обществе.

Шахматами он профессионально не занимался. Талант его был столь велик, что Капабланка был уверен в себе — за доской он всегда разберется в создавшейся ситуации. В молодости так оно и было, но с неизбежным падением способности к счету вариантов Капа стал думать о шахматах не только во время партии. Он присматривался во время турниров к дебютным системам и находил новые идеи. Ортодоксальный Капа изменился к лучшему: ему удалось найти много интересного и в защите Нимцовича, и в дебюте Рети, и в сицилианской защите, и в прочем.

Ноттингем был турнир для Капабланки: ускоренная игра (36 ходов в 2 часа), усиленная нагрузка (отсутствие дней доигрывания) — все это было ему выгодно, так как снижало значение подготовки и увеличивало значение мастерства во время игры, где особенно в эндшпиле кубинец был исключительно опасен. В нашей партии в Ноттингеме (№ 80), когда уже ничья была очевидной, я неосторожно разменял фигуры и в ферзевом эндшпиле предложил ничью. Капа сначала отказался, и, к своему ужасу, я убедился, что стою хуже — предстояла упорная борьба за ничью. Быть может, молодой Капабланка и стал бы играть на выигрыш, но пожилой подумал и принял предложение... Затем начался анализ партии, и Капабланка преподнес мне урок ферзевого эндшпиля: с каким мастерством централизовал он ферзя и короля, не считаясь с потерей пешки! Но, видимо, я оборонялся удовлетворительно, так как через полчаса Капа протянул мне руку:

— Да, ничья была неизбежной!

— Вы и не могли выиграть,— сказал я. Капабланка тут же вспыхнул.— Мне сегодня двадцать пять лет.

Капа просиял и ласково улыбнулся... Вообще, кубинец был весьма благородным спортсменом, но не отказывался и от «случайных» возможностей. Так, его партия с Видмаром (Видмар должен был играть белыми) в начале турнира была отложена из-за болезни югослава. Правда, когда после тура я вошел в ресторан, то увидел, как Видмар с аппетитом обедает, хотя участникам было заявлено, что у профессора болит живот. Пропущенная партия должны была быть сыграна в выходной день, но Капа наотрез отказался: «Я пошел навстречу больному товарищу. Неужели Видмар не понимает, что заранее намеченное свидание с дамой отменить невозможно?» В итоге партия была сыграна на финише, когда дела югослава были безнадежны, и он проиграл без борьбы.

И вот последний тур. Мы с Капой наравне. Я играю со слабым участником — Винтером; Капа — с Боголюбовым. Сделано несколько ходов, Капабланка обнимает меня, и мы прогуливаемся по залу:

— У вас хорошая позиция, и у меня хорошая позиция,— говорит он.— Давайте оба сделаем ничьи и поделим первый приз.

Ну, думаю, хитрец, Винтер — это не Боголюбов...

— Я-то, конечно, готов принять ваше предложение, но что скажут в Москве? — отпарировал я удар. Капа только руками развел.

Но я допустил большую ошибку. Во-первых, накануне допоздна доигрывал мучительную партию с чемпионом мира Эйве, а во-вторых, последний тур начался рано утром, а изменение режима игры — дело неприятное. С каждым ходом я теряю свой перевес и в отложенной позиции должен остаться без пешки. Чутье практика подсказывает — надо предлагать Винтеру ничью. Тот, разумеется, принимает предложение. А что же у Капабланки? Увы, лишнее качество. Жена — в слезы.

— Ты что плачешь?

— А теперь турнир закончен, могу поплакать...

— Знаешь, перерыв уже кончился, пойдем посмотрим, может, Боголюбов устоял?

Подходим к демонстрационной доске — ничья стала очевидной. За шахматным столиком Капабланка и Боголюбов уже анализировали эндшпиль. Поздравляю Капу и благодарю Боголюбова. «Что вы,— развел руками Боголюбов,— хотел выиграть, но не мог...» Боголюбов показал себя настоящим спортсменом. Он ценил, что я его (так же, как и Алехина) ничем не выделял среди других участников. Когда во время нашей партии Боголюбов слабо нажал на кнопочку часов и мои часы не пошли, я немедленно обратил его внимание на это. «Все вы пижоны, я вам проигрываю случайно,— заявил однажды Боголюбов своим партнерам по картам Видмару и Тартакову и, увидев в этот момент меня, добавил: — А вот ему — не случайно...» Мы расстались с Ефимом Дмитриевичем дружески. Онемечился он, увы, полностью. Говорил по-русски с акцентом и даже смеялся «по-немецки»! Но вернемся к Капабланке.

Оба мы были дружны с С. С. Прокофьевым. Капа был знаком со знаменитым композитором еще по Парижу, я — по Москве, после возвращения Прокофьева на родину. Естественно, по окончании турнира я получил от Сергея Сергеевича поздравительную телеграмму. Тут же у портье вижу кубинца и показываю ему телеграмму — Капабланка бледнеет и криво улыбается. Действительно, какая обида — Прокофьев его не поздравил... Но через два часа Капабланка меня разыскал и, сияющий, показывает свою телеграмму. Прокофьев, конечно, послал их одновременно, но телеграфистки в Москве решили, что первым поздравление великого композитора должен получить советский шахматист.

Завтра — отъезд, и я расплачиваюсь за последнюю неделю проживания в отеле. «Позвольте,— полюбопытствовал Капабланка,— за что это вы тут платите?»

Объясняю, что турнирный комитет платит только за меня, а за жену плачу я,— Капа остолбенел от удивления. Дело в том, что участники-иностранцы, что приехали с женами, пользовались гостеприимством хозяев полностью. Иностранцы-гроссмейстеры, кроме того, получили по 100 фунтов, а чемпионы мира — по 200. Капа знал, что я не получил ничего, но то, что я платил за жену,

а также за ванную комнату (турнирный комитет мне оплачивал номер без ванны), его взорвало. Он поднял страшный крик и накинулся на бедную Веру Менчик, поскольку она была хорошо знакома с турнирным казначеем Стивенсоном (за которого впоследствии вышла замуж). Тут прибежал перепуганный казначей, и в итоге за последнюю неделю деньги были возвращены — Капа был счастлив!

Алехин, видимо, нервничал, когда мы с ним познакомились,— я сделал вид, что ничего не замечаю. Был он худ, порывист, глаза его блуждали. Вино продолжал пить — партию с Решевским проиграл только потому, что, когда партия была отложена, выпил за обедом бутылку вина. Но шахматист это был с большой буквы.

Подлинное наше знакомство состоялось за шахматным столиком. В одном варианте сицилианской защиты Алехин подготовил весьма опасное продолжение. Уклоняться от своих вариантов было не в моих правилах, и Алехину удалось применить «домашнюю заготовку» (№ 79). Алехин был тонкий психолог, он знал, насколько важно морально подавить партнера, поэтому вплоть до критического момента играл молниеносно, кружа вокруг столика (и своей жертвы), присаживаясь за столик, лишь чтобы быстро сделать ход — надо внушить партнеру, что в кабинетной тиши все было изучено до конца и сопротивление поэтому бесполезно.

Думаю минут 20 и нахожу спасение. Правда, надо пожертвовать' двух коней, но повторение ходов гарантировано. Коней жертвую, однако перед тем, как повторить ходы, задумываюсь — риска уже нет... Боже мой, что случилось с Александром Александровичем! Контригру черных он в анализе проглядел, и когда я задумался, то решил, что еще чего-то не видит, раз я не тороплюсь форсировать ничью. Галстук у него развязался, пристежной воротничок съехал набок, поредевшие волосы растрепались. Когда мы согласились на ничью, он еле успокоился, но тут же вошел в роль и заявил, что все это продолжение нашел за доской... Я был уже стреляный воробей и, конечно, не поверил.

Ко мне он, видимо, отнесся благожелательно; после турнира в «Манчестер гардиан» предсказал мне большие успехи. «У Ботвинника есть чувство опасности»,— писал Алехин.

Отдельные партии в Ноттингеме он проводил с большой силой — например, технически трудную партию с чемпионом мира Эйве он сыграл блестяще.

Максу Эйве было 35 лет. Приехал он со своей женой Каро, и мы вчетвером занимали столик в ресторане, пока лидером был Эйве. Когда лидерство перешло ко мне, голландец сел за другой стол.

Доктор Эйве уже тогда начал изучать русский язык. Как-то мимо нас проходил Боголюбов; Эйве подозвал его и сказал по-русски:

— Я хочу учиться говорить по-русски. Тот махнул рукой:

— Все равно не научишься!

— Швинья! — заявил доктор в ответ.

Впоследствии профессор Эйве стал исключительно тонким и деликатным человеком. Но тогда, по молодости, был иногда невыдержан.

Чемпионом Ноттингема был некто Хаддон. Шрам от сабли рассекал его щеку. «Все, что угодно, только не война»,— говорил он. Хаддон был инженер, работал на известном химкомбинате «Бутс» и жил неплохо. В Силверхилле (предместье города) у него был стандартный двухэтажный домик с гаражом, садиком (за домом) и неизменным фокстерьером, который словно выскочил со страниц Джером-К. Джерома.

— У нас в СССР таких собак мало,— сказал я.

— Да у вас давно всех собак съели,— заметил мимоходом чемпион мира. Вид у меня был столь растерянный, что доктор тут же извинился, и мы помирились...

И хотя мы с профессором Эйве стали большими друзьями, но должен отметить, что тогда у молодого чемпиона не все благополучно было и со спортивной этикой. В предпоследнем туре мы сыграли напряженную партию. Инициатива была на стороне чемпиона, но отложить партию мне удалось в примерно равном эндшпиле. В анализе убеждаюсь, что делаю ничью, а поскольку последний тур завтра рано утром, то решаю для экономии сил предложить мировую. «Да, конечно,— ответил мне доктор,— но как вы собирались делать ничью?»

Я понял, что ничья принята, раз партнер интересуется моим анализом, и показываю чемпиону подготовленные варианты. Затем, ни слова не говоря, Эйве забирает мои карманные шахматы и исчезает.

Начинаю беспокоиться: что все это значит? За пять минут до возобновления игры Эйве возвращает мне шахматы: «Очень сожалею,— говорит он,— но последняя моя надежда на первый приз состоит в выигрыше этой партии...» Началась игра, и через два хода партнер, исправляя свою ошибку, предлагает ничью, но я отрицательно мотаю головой. В итоге все же ничья, хотя я был на грани поражения!

В те годы Эйве играл с большой силой и был достойным чемпионом. Алехину образца 1937 года (когда он полностью восстановил спортивную форму) мог проиграть матч любой.

Сэр Джордж Томас был вполне в стиле героев Диккенса, седой, высокий, медлительный, усатый, с неизменной мягкой улыбкой и чуть наклоненной набок головой. Он, видимо, был достаточно состоятелен, так как его стареньким автомобилем (однажды он подвозил меня от университета, где мы играли, в отель, после того как мы закончили партию), отделанным красным деревом, управлял водитель. Когда британские шахматисты должны были собрать половину турнирного фонда, сэр Джордж дал 50 сеансов одновременной игры в пользу турнира. Выступал он в

турнире, как все четверо англичан, без особого успеха, но боролся до конца. Мы с ним доигрывали довольно любопытный эндшпиль (№ 82). У Капа-

бланки были некоторые надежды в связи с этим, так как предыдущую партию Томасу в Гастингсе я проиграл. Когда мы вернулись в отель, Капа играл в карты, но, увидев Томаса, вопросительно на него посмотрел. «Нечего было делать»,— лишь развел руками сэр Джордж, и игра за карточным столиком возобновилась. Томас умер, когда ему было за девяносто.

Еще один англичанин, Т. Тэйлор, весьма красноречивый адвокат, был слепой (он мучился во время игры: насколько я помню, он непрерывно ощупывал специальные шахматы, и, кроме того, у него было приспособление для подсчета ходов).

Политическая обстановка была тогда неприятной; в британской прессе велась интенсивная антисоветская кампания. «Хорошо, что турнир удачно кончился,— сказал мне советник посольства.— Устроим прием для шахматистов — хоть что-то хорошее напишут о Советском Союзе».

Прием состоялся — были Ласкер, Капа, Флор, Вера Менчик. Именно там было сделано фото — мы стоим с Ласкером и Капабланкой, пьем чай и чему-то смеемся... Но цель не была достигнута. На следующий день в прессе сообщалось: «Когда мы спросили советника о политической ситуации, он уклонился от ответа — «А что вы скажете о результатах Ноттингемского турнира?» Советник потом весьма сокрушался...

Вместе с П. Муссури едем в Париж. Муссури был греческим подданным, но жил в Москве, сотрудничал в газете «64» и составлял шахматные задачи. Когда в Москве Н. Крыленко получил разрешение на выпуск специального бюллетеня, посвященного турниру, надо было срочно послать корреспондента в Ноттингем. Проще всего это было сделать, послав Муссури, поскольку он был иностранцем, и вот Муссури в Ноттингеме. Работал он без устали и передавал в Москву много материала. Когда мы вместе с Капой ехали в поезде Ноттингем — Лондон, Муссури уговорил кубинца продиктовать примечания к двум партиям.

В Париже ночуем в посольстве, и рано утром является корреспондент ТАСС брать интервью.

— Что вы можете сказать о награждении вас орденом? — спрашивает Н. Пальгунов (будущий генеральный директор Агентства).

— Каким орденом?

— Как, вы разве не знаете, что вас наградили орденом «Знак Почета»? Это была большая честь!

Утром садимся в поезд и вечером — в Берлине. И здесь ночуем в посольстве; на следующий день — торжественный обед у посла Я. Сурица. Все почему-то молчат и сосредоточенно едят, а посол оживлен и рассказывает разные разности: что В. И. Немирович-Данченко где-то поблизости от Берлина лечится и внимательно следит за турниром по эмигрантской газете «Последние новости» (там вел шахматный отдел мастер Евг. Зноско-Боровский — он присутствовал на турнире), всякие истории, анекдоты и прочее.



М. М. Ботвинник (1936)

Иногда Суриц задавал мне вопрос, но не успевал я для ответа открыть рот, как посол начинал говорить о другом. Тогда я понял, почему все молчат, и взялся за еду...

Дальше события нарастали стремительно. В Негорелом уже встречали журналисты и фотографы, в Минске — большая толпа шахматистов на перроне вокзала, в Москве — митинг на площади Белорусского вокзала, вечер в Зеленом театре ЦПКО, вечер в ЦАГИ, передовая статья в «Правде»...

Николай Васильевич принимал меня чрезвычайно довольный, подробно расспрашивал о турнире. «Ваше письмо товарищу Сталину мы направили на дачу, и сразу же была наложена резолюция: «В печать», — сказал Крыленко. Собственно, все это он и организовал. Тогда все писали письма Сталину о своих достижениях. Крыленко меня изучил вполне и понимал, что по скромности сам я писать не буду, а отсутствие письма может нанести ущерб шахматам. Еще когда я был в Лондоне, меня вызвал к телефону Д. Гинзбург, сотрудник «64». «Мы получили ваше письмо, — сказал он. — Но все же, может, у вас есть какие-либо исправления, и поэтому я вам его прочту...» Я, конечно, смекнул, в чем дело, выслушал письмо и сказал, что все правильно, дополнять и изменять нечего. Тогда письмо и было направлено Сталину.

В те времена ордена вручались на заседании Президиума ЦИК СССР. М. И. Калинин был в отпуске, и председательствовал А. Червяков. Сначала он поздравил большую группу военных и вручил им ордена. В это время за столом президиума появился Н. Крыленко, и подошла моя очередь. Председательствующий стал говорить обо мне, объяснять, почему правительство решило отметить мои достижения, и заявил: «Ботвинник награждается орденом потому, что его успех в Ноттингеме способствует... — тут он запнулся, но заключил: — делу социалистической революции». Вот это была похвала!

Через три недели после отдыха я приступил к работе над кандидатской диссертацией.

И вот конец сентября 1936 года. С подсказанной Щедриным темой — исследовать устойчивость синхронной машины при регулировании напряжения возбуждения по фазовому углу цепи статора — иду па квартиру научного руководителя. Горев посмотрел на меня поверх очков, внимательно выслушал, побыл в состоянии отрешенности, погладил волосы, встал (эрдельтерьер тоже встал), взял с полки одну из своих рукописей и спокойно произнес: «Здесь эта задача решена без регулирования возбуждения. Решите свою задачу, пользуясь тем же методом». Я поблагодарил и ушел.

Пришел через месяц. Работал по двенадцать часов в день. Жена и мать пилили меня. Исписано было немало листов, но решение было изложено на нескольких страницах.

— Неверно,— сказал Александр Александрович,— этого быть не может. Магнитный поток не может меняться. Впрочем...— тут Горев зачеркнул члены выражения моментов, связанные с регулированием, и с удивлением обнаружил, что оставшееся совпадает с его решением.

Он задумался (челюсть отвисла), затем оживился, стукнул кулаком по столу (эрдельтерьер залаял): «Вот теперь докажи экспериментально, что полученные формулы верны, и диссертация готова».

Он с торжеством уставился на меня. Я поблагодарил и ушел.

В течение зимы Горев изредка со мной беседовал. В конце апреля эксперимент был закончен. Теория сошлась с практикой в среднем с точностью до семи процентов. Горев подержал диссертацию в руках, перелистал ее и сказал: «И мало, и хорошо»,— в его понимании это означало многое...

28 июня 1937 года я защитил диссертацию на заседании совета факультета. Членами совета были крупнейшие электротехники того времени: Шателен, Костенко, Калантаров, Михайлов, Залесский, Алексеев, Пиотровский, Шрамков. Горев отметил, что работа является первой в этой области. Действительно, эта скромная работа оказалась первой из несметного числа последовавших работ, посвященных так называемому «сильному» регулированию возбуждения, когда инерционный магнитный поток машины не поддерживается постоянным, а целесообразно меняется...

Волновался я страшно (защищать диссертацию — не в шахматы играть), началась крапивница, всю защиту прокашлял, но за широкой спиной Александра Александровича можно было чувствовать себя спокойно.

В июле 1941 года шел я мимо химического факультета. Уже строились укрепления — забивались колы для колючей проволоки. Смотрю, какой-то верзила, тяжело дыша, ловко орудует дубиной.

— Александр Александрович,— говорю я с ужасом,— у вас же стенокардия!

— Сейчас это важнее всего,— отвечал Горев, не прекращая работы.